



А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Бодался теленок с дубом

<Фрагмент>

(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.): Об этих встречах в печати почти никто не рассказал, я не встречал. Да большинство участников все еще в той же сфере и остались, и под той же пятой, для кого и сладостной, — им и не рассказать, и незачем. И конечно, с отдалением нашим от тех дней все ничтожней и само событие и участники его. Уже сейчас не все имена запомнены, а следующему поколению они будут и вдичь. Но вдичь будет когда-нибудь и все наше рабство, — и как его потом вообразить? У меня сохранились записи — самих совещаний, прямо там и сделанные, на коленях, и в те же вечера еще добавленные посвежу. Все в подробностях не буду, но даже глоток того воздуха вырвать из тех залов и дать подышать опоздавшим — может быть, стоит.

Идея «встречи руководителей партии и правительства с деятелями культуры и искусства» — не была нова: по каким-то поводам и Сталин встречался, изрекал для направки несмышленишей, да и Хрущев летом 1957 принимал у себя на подмосковной даче избранную группу литераторов и внушал, как не надо расшатывать основы, эту встречу воспела Алигер — то ли в стихах, то ли в воспоминаниях. Что руководители правительства покидают государственные дела и занимаются выправлением искусства — для тоталитарного государства нисколько не диво, оно только тогда и тоталитарно, тогда и держится, если не упускает ни единого живого места, так что живопись, музыка, а тем более литература для них так же важны, как и своевременное вооружение. А самих «деятелей искусства» эти встречи не только не удивляли — но были искренним праздником для большинства и предметом жестокого соревнования: как попасть в число приглашенных? Почти все приглашенные были тем самым уже награждены: ЦК относит их к «ведущим», а значит им обеспечены впредь тиражи,

выставки, спектакли. В то утро помню разговор в отделе культуры ЦК при мне, что Исаковский, впервые обойденный, слезно вымаливал себе приглашение: впервые ему не оказалось места в важном собрании, и значит, он перестал быть ведущим, и карьера его как бы заканчивалась. А приглашенных в тот раз было немало — 300 человек, но вместе с нацреспубликами, которые летели и ехали в Москву, за несколько дней предупрежденные, — сам же отбор производился в ЦК, конечно, перезванивались с ЦК нацкомпартий и с руководством творческих союзов, и много тут сталкивалось желаний, обид, личных протекций и партийных ошибок. А помимо «ведущих» вызывались и те, кого надо было осадить, призвать к порядку (в тот раз такой был Эрнст Неизвестный, а Евтушенко — и такой, но и ведущий, уже он пробил себе дорогу).

Эта встреча 17 декабря произошла через месяц без дня от публикации «Ивана Денисовича» 18 ноября — и события были связаны. Всем благоразумным коммунистам показал «Иван Денисович», что дальше им отступать нельзя, что этак развалится и государство и партия. Сталин, сколько ни проявлял, как будто, своих личных прихотей, а на самом деле никогда не выметывал из партийной колеи: даже уничтожая ленинскую партию, он был не против партии, а с ней, — он катил инерционно-косно, ленинским путем. А Хрущев, никогда не уничтожая и внешне блюдя партийную линию (он мышлением куда ближе был к 20-м годам, чего стоит его лютая ненависть к церкви), — то и дело по характеру и сердцу выпрыгивал в стороны неожиданно, как не может себе позволить равномерная тоталитарность. Из таких разрушительных явных выпрыгов было разделение партии на промышленную и сельскохозяйственную, но и послабление в литературе было для коммунистов предусмотрительных достаточно грозно: ведь если позволить печатно обсуждать ГУЛАГ, то что ж останется от системы? И так, после прорыва «Ивана Денисовича» надо было срочно образумить Хрущева и втянуть его обратно в колею. Кто из ЦК руководил этим поворотом — достоверно неизвестно, но очень можно подозревать Суслова. (В противоречие с этим, единственный из вождей, кто в перерыве подошел ко мне знакомиться, — был Суслов же. Но, может быть, тут противоречия и нет: он присматривался, как и меня захватить в их колею?) Разработано было недурно: если бы вразумление делали против Хрущева, а он бы выбрыкивался, — развалил бы он все, ничего бы не получилось. Прямо на рожон лезть и убеждать Хрущева, что «Иван Денисович» был ошибкой, — никак было невозможно. Но придумали, как против Хрущева пустить самого же Хрущева! — этим обеспечены были натиск

и энергия обратного поворота. Уже 1 декабря подстроили в Манеже выставку художников недопускаемых направлений (в том числе и работы 20-х годов!) — и дружески повели Хрущева показывать, до чего вольность искусства доводит. Хрущев, конечно, в простоте рассвирепел — и тут же его уговорили на образумление деятелей искусства, хоть завтра, оставалось дело за организацией. Рассчитывали правильно, что инерция общего поворота потом захлестнет и лагерную литературу. Но я попадал на эту встречу пока — не главным виновником, а главным именинником.

Близ 10 утра подкатили меня к зданию самого ЦК на Старой площади, о котором раньше лишь понаслышке я ведал, сюда и не забраживал, это — особенно чистое место, машины стоят только большие черные, охраняемые, а пешеходы, случайно попавшие на этот кусок тротуара, — скромно строго быстро мимо, чтобы глазами своими преступными чего непозволительного не выказать охране да не быть захваченным. А я вот — вхожу даже, сказываюсь в окошко, — там звонят и сразу дают мне пропуск, и я поднимаюсь мимо стражи по пустой лестнице, не смея на лифт, дальше по обширным пустым коридорам — а на дверях одни фамилии, без чинов и должностей (между своими все всё понимают, а чужим и не надо).

К облегчению, сам Поликарпов видеть меня не пожелал (мерзко, наверно, ему было, и правильно сердце его чувствовало), зато отдел принял меня восхитительно-заботливо (да они всю жизнь, наверно, сочувствовали лагерной литературе! зря я сюда еще раньше повесть не принес?), сразу разъяснилось, что вызван я всего лишь на торжество, а младшие сотрудники аппарата спешили в дверь заглянуть, на меня посмотреть. Дали мне кусок изукрашенного картона — это и был пропуск на сегодня в кремлевский дворец приемов, любопытный: цвет, литер, номер — что-то значат, а неизвестно, ни даты, ни места приглашения, и если вот на улице найдешь, оброненный, то никогда не догадаешься, что это — пропуск, и куда. А сперва — в гостиницу «Москва» (автомобилем, разумеется), — ту самую, как бастион на центральной московской площади, — и мимо нее, раздавленный величием, я сколько мимо прохаживал, тут в 1945 шел с тремя конвоирами сдавать себя на Лубянку, тут после 1956 протаскивал сумки тяжелые с московской провизией — скорей в метро да на Казанский вокзал. И вот — внутрь, да направленный не к безнадежному барьеру вестибюля, где номеров никогда никому нет, кроме иностранцев, но в рядовую, как бы жилую комнату, а там-то, для знающих, и распределяют все места. И едва овладел я своим невиданным пышным номером — как уже новая большая черная машина ждет

внизу — нас, нескольких почетных, рядом со мной — холеный мужчина в годах, изволит знакомиться, оказывается — Соловьев-Седой, сколько его надоедлые песни нам на шарашке в уши лезли из приемников — думал ли я когда, что нас сведет? Однако, кажется, весь сон мой — не на один день, а мне теперь среди них — жить и обращаться, и надо как-то привыкать. Тем временем широченная машина вносит нас виадуком Комсомольского проспекта — да на Воробьевы горы. Сколько меня в жизни давило это Государство, как оно было всегда безжалостно, неприступно, неугovorчиво, и большинство людей в этом верном впечатлении так и проживут всю жизнь, — а вот, оказывается, у этой мощи есть и оборот: она вовсе не давит насмерть, не закрыта вся железными створками, но распахнута бархатно, но несет такими уверенными крылами, как, может быть, ни одна сила в мире носить не умеет. Эй, берегись, старый зэк, это все не к добру!

Сперва обширный каменный забор на высоком взлете (да не здесь ли Герцен с Огаревым клялись о свободе?), у ворот проверка машин часовыми, тогда уже въезд (а кто на случайных машинах приехал — тот через двор пешком, даже и Федина так узнаю; а мы — к самому входу). В раздевалке ливрейные молодцы приняли мое тертое унылое длинное провинциальное пальто, как будто и не удивясь. А дальше — залы крупного паркета, да кажется день же сегодня будний или вообще не день? задернуты все великолепные оконные белоснежные занавесы, льется белизна от ламп дневного света, да и то скрытых. Где-то там тужатся по стране — трудовые вахты, шахты, виснут трудящиеся на ступеньках автобусов, ухающих через грязные колдобины, — здесь переполнены залы разодетой праздной публикой, все мужчины — в остроносых лакированных ботинках, в каких и по уличному снежному месиву не пройдешь, — и все друг ко другу так и спешат — здороваться, наговариваться, шутить, все друг друга знают в лицо, кроме некоторых нацменов. Есть и дамы, разряженные, но мало их. Я шел сторонкой, рыла своего не выказывая, ботинками ступая понезаметней, никого я тут не знал, не узнавал, одного Шолохова, фотографируемого при многих молниях и под треск аппаратных ручек, а он стоял и преглупо им улыбался. До того мне было тут зажато-чуже, что обрадовался я, увидав казахов, хорошо отличае-мых мною после ссылки, пошел и сел подле них, думая тут пере-быть втихомолку, но и сюда подошла какая-то большая недобрая пиковая дама, и мниморадостно с казахами знакомилась, что она *тоже* из Казахстана, — и тогда я сообразил, что это Серебрякова.

Просидел я при казахам, глаз не поднимая, очень опасаясь всяких вопросов и разговоров, а когда позвали в обеденный зал,

то пошел опять при казахах и при них же сел, места были неназванные. Весь зал, обставленный белыми колоннами с золочеными основаниями, занимал широкий стол буквой «П» — и тут же мы все опять поднялись, душевно-радостными аплодисментами приветствуя вход за короткую сторону стола десятка руководителей партии и правительства. Длинный Суслов там был среди них, тучный Брежнев, устало-досадливый Косыгин, непроницаемый Микоян, — но посередине маленький лысый Хрущев мягким голосом пригласил: «Когда человек поест — он становится добрей», и предложил пока пообедать. С большой готовностью усаживались — а съемочные аппараты все исчезли. А на столе-то было уже наставлено — я такого в живой жизни не видывал: перед каждым по 5 фужеров, три ножа — нормальный, малый и кривой, зачем еще этот кривой? икра, осетрина, мясо, курятина, салаты, вина, боржомы, — да одного этого холодного должно было на всех хватить досыта — но нисколько не хватило. Растерялся я в этом изобилии и только думал справиться примером соседей, но не казахов же. А с другого боку и противу меня сидели русские — да отменные ряжки, крупнолицые, крупнотелые мужчины в живой веселой беседе друг с другом, очень запросто о Поликарпове, и тут я начал смекать, что это все — важные направители: истинный руководитель всего Союза писателей Георгий Марков, а рядом со мной — тучный уверенный Вадим Кожевников, а невдали наискосок — невзрачный Шолохов, средь двух невероятно крупных морд. (Софронов, кажется.) А еще между ними — небольшой пронырливый Чаковский, кожей носа то и дело подбрасывающий свои очки, и первый с бокалом, кланяясь наискосок: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» — и все вдогон, чтоб не отстать: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» (Я — не шевелюсь, я — из другой республики.)

Это — все грозные были имена, звучные в советской литературе, и я совсем незаконно себя чувствовал среди них. В их литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня — и как же мне теперь среди них жить и дышать?

Тем временем пользуясь, что смотрят на меня не внимательней, чем на любого казаха, я, тайком от соседа Кожевникова, на коленях записывал в блокнотик: суп с осетриной, лимоном и маслинами; осетрина с картофелем; битки с картофельной стружкой; пирожки; фруктовое блюдо; мороженое; кофе. Все подавали молодые бесшумные дрессированные официанты во фраках, в изогнутой позе, одна рука с блюдом, другая за спиной. И это — все десятиле-

тия, что мы вырабатывали пайку, а в Саратове и сегодня душатся за макаронами, — а они вот так едят! И церемониал обслуживания не сегодня же возник, да и деятели искусств к нему, кажется, весьма привычны.

Шел обед часа полтора, потом гуляли в перерыве — и втекали в отдельный зал смотреть картины художников, осуждаемых партией, — так предварялась тема совещания. Тут я набрел на Твардовского, и он меня взял под руку и водил, выбирая, с кем знакомить, а с кем нет. В этот и в следующий перерыв он так знакомил меня — с композитором Свиридовым, которого я все же отличал, да и сам он оказался симпатичен; с прославленным тогда кинорежиссером Чухраем, с Берггольц, Пановой, Кетлинской, Борщаговским, Мальцевым (Пупко). Знакомился я знакомился, все они высказывали радостное сочувствие, а я учился с ними разговаривать, но *за своих* никого тут признать не мог. Не предстояло мне выбирать, *с кем* я, ясно — что ни с кем, кроме вожатого моего: а все они — тут же годами были, когда за одним столом с правительством, когда за соседними, — однако за макаронами не душился никто. И какие они ни либералы, какая ни оппозиция, — но все на государственных заказах и работают на государство, и по сравнению с тем, что волок я позади своих плеч, — все они друг другу равнялись.

Так мы с Твардовским гуляли-гуляли (за это время еще обнаружив забавный прием: в мужскую уборную того этажа, где банкет, пускали только членов Политбюро, специально дежурил чин в проходе, — а всех остальных направляли этажом ниже). Уже и звонок дали, и все ушли в зал, а Твардовский чего-то поджидал, или это уговорено у него было, я и не понял, — в пустом и уже полутемном вестибюле вдруг оказались только мы двое, да кинооператоры с диковинными подсунутыми нам микрофонами — и тут Твардовский меня повернул — а шел через вестибюль один Хрущев. Твардовский меня представил. Хрущев был точно как сошедший с фотографий, а еще крепкий и шарокастый мужик. И руку протянул совсем не вельможно, и с простой улыбкой сказал что-то одобрительное, — вполне он был такой простой, как рассказывал нам в лубянской камере его шофер Виктор Белов. И я испытал к нему толчок благодарного чувства, так и сказал, как чувствовал, руку пожимая:

— Спасибо вам, Никита Сергеич, не за меня, а от миллионов пострадавших.

Мне даже показалось, что в глазах у него появилась влага. Он — понимал, что сделал вообще, и приятно было ему от меня услышать.

Пока еще руки наши были соединены, пока еще длилось это мгновение немешаемое рядом — я мог сказать ему что угодно, я мог какой-то важный и необратимый шаг сделать — а не был подготовлен, не сообразила голова: чувствую, что упускаю, а не сообразил.

Не сообразил, только потом понял, через месяцы: надо было мне просить аудиенции, хотя и не составлена была беседа в голове. Надо было понять, что весь наш успех, едва достигнутый, уже шатается, что не осталось и мне того полугода открытости, на которые я рассчитываю, что вообще мы в последнем крайнем залете в свободу, а теперь все попятится, — и чтоб это пытатьсЯ остановить, предупредить — мне надо было смело говорить с Хрущевым! Он был человек — индивидуальных решений, вполне возможно — я подвиг бы его на закрепление начатого! Но я оказался не вровень с моментом — с первым прямым касанием к ходу русской истории. Слишком резок и быстр для меня оказался взлет.

Да наверно и долго просидев, не мог бы я составить правильного плана разговора с Хрущевым.

И так я руку опустил. И говорить больше нечего было (киношники между тем крутили — и в кинохронике наше пожатие было). Оставалось повернуться и идти в зал. И я — повернулся. И там — до закрытых дверей, где никого не было, точно, — теперь одиноко стоял малоросток Шолохов и глупо улыбался. Как Твардовский ловил Хрущева — так и Шолохову, значит, этот момент высмотрели, и он выперся сюда, назад, тоже присутствовать, как царь литературы. Но Хрущев миновал его стороной, а мне предстояло идти прямо на Шолохова, никак иначе. Я — шагнул, и так состоялось рукопожатие. Царь — не царь, но был он фигурой чересчур влиятельной, и ссориться на первых шагах было ни к чему. Но и — тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного.

— Земляки? — улыбался он под малыми усиками, растерянный, и указывая путь сближения.

— Донцы! — подтвердил я холодно и несколько угрожающе. Пошли в зал. Начинали.

Теперь на столах остался один боржом, и уже кинооператоры снимали беззапретно. Увел меня Твардовский за дальний-дальний конец, где стягивалась как бы оппозиция и где — вот знамение времени! — сидел и Сурков. Да что там, не только с нами сидел, но *мне* пошутил: «Знаете, как этот дворец называется? Колхоз 'Заветы Ильича'». Вот как шатались тогда столпы, и никто не понимал, куда же кружат небесные светила!

На краю стола вождей поднялся низкий узкий Ильичев, заведующий отделом пропаганды ЦК, и стал делать доклад, изгибаясь

узкой шеей на подобие змеиное. Может быть, и не сильный, голос его громко повторялся стенными динамиками, да и смысл слов был партийно-сильный. Что полезно время от времени *сверять свои часы*. Что абстракционисты действуют чрезвычайно активно и заставляют соцреалистов уйти в оборону. (Наличие войны разумелось само собою.) Формалисты навязывают партии новый диктат. И поступают в ЦК письма: неужели решения партии (несчетно было их за годы, но все в один бок) устарели? Нет! — вздрагивал Ильичев всей шеей, — мы не допустим кощунственно распространять про Ленина, будто он был сторонник лозунга «пусть расцветают сто цветов»!¹ — То втягивал голову в плечи, то губы закусывал от негодования: — И кинематографисты копаются на заднем дворе, слепнут к генеральной магистрали. И в литературе молодые бравируют фыркающим скептицизмом. А иностранцы выискивают проходимцев вроде Есенина-Вольпина. (Хрущев: Порнография, а не искусство.) А часть поэтов пропагандирует общечеловеческое начало, как Новелла Матвеева, — мол, всем пою, всем даю. Наступила пора безнаказанного своеволия анархических элементов в искусстве! Требуют выставок без жюри, книг без редакторов. Требуют мирного сосуществования в области идеологии! На собраниях бывают такие условия, что отстаивать партийную позицию становится неудобно. (Сталинцев хрип!)

Так представил партию совсем маленькой, слабой, утесненной, — а интеллигенцию грозно наступающей. Но, сам такой маленький, выстаивал против нее, крутя головой. Оказывается, откуда-то поползли фальшивые слухи, что будет новый поход против творческой интеллигенции, — и пришло письмо самому Никите Сергеевичу за подписью таких видных деятелей как Фаворский, Коненков, Завадский, Эренбург. (И... Сурков! — вот куда он попался!)². Сделайте все, чтобы не повторился произвол! Без возможности разных направлений искусство, мол, обречено на гибель. Потом — отозвали свое письмо назад. (Хрущев: И лучше б совсем не присылали!)

Жидкие аплодисменты зала.

А Ильичев нагнетает и пошел в наступление, распухая от малого своего объема: диверсия буржуазии в области идеологии, мы не имеем права недооценивать. Не молодые художники «ищут путей» — а *их* нашли и потащили за собою. У нас — полная свобода для борьбы за коммунизм, но у нас нет и не может быть свободы для борьбы против коммунизма! Великое счастье, что партия определяет все направление искусства.

Становилось все жутковатее в зале. Настолько смешались в одной церемонии именины с похоронами, что мелькнуло у ме-

ня: пожалуй и со мной отбой дают, сейчас навалятся, уж никак мой Денисович не за коммунизм. Да когда стеснялись *наши* дать обратный ход? Я единственный тут вызывал двоеение, что сегодня — еще и именины тоже.

А там близко перед ними стояла, нам не видно, медная скульптура Эрнста Неизвестного, и Хрущев зарывал на нее внеочередь: «Вот произвол! Стали бы они большинством — в бараний бы рог нас свернули!»

А — мастера же поворачивать, когда руль всегда им послушен. С новым изгибом шеи, как от очень неудобного воротника, Ильичев повел совсем новую руладу: в отличие от произведений упадочнических партия должна отличать произведения хотя и остро-критические, однако жизнеутверждающие. В последнее время появились очень правдивые, смелые произведения — такие, как «Один день Ивана Денисовича». Показаны человеческие люди в нечеловеческих условиях.

Хрущев брал инстинктом, чем и отличался ото всех коммунистических вождей: что рассказ мой против коммунизма — он не заметил, потому что не голова тут сработала и не бронированная догма. А что честно по-крестьянски — заметил. Теперь, настороженно перебивая Ильичева, забубнил:

— Это не значит, что вся литература должна быть о лагере. Что это будет за литература! Но как Иван Денисович раствор сохранял — это меня тронуло. Да вот меня Твардовский познакомил сегодня. Посмотреть бы на него.

А уже просмотрен я был чутким залом, как прошел с Твардовским, — и теперь стали сюда оборачиваться и аплодировать — самые угодливые раньше Хрущева, а уж после Хрущева совсем густо.

Я встал — ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал — безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами, сурово. Всей глубины *нашей* правды они не представляли — и нечего даже пытаться искать их сочувствие.

Поклонился холодно в одну сторону, в другую, и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я — не ихний.

Еще продолжался доклад Ильичева, но все более переходя в непрерывный комментарий Хрущева. Отвечал он все авторам того, взятого назад, письма — что нет, нет, возврата к культу личности не будет. «В тюрьме сажать никого не будем, — уверенно объявил Хрущев. — Получайте паспорта и скатертью дорога, проявляйте свои таланты т а м».

(Это была еще тогда настолько неправдоподобная нота, что никто всерьез не принял.)

Как всякий новичок никогда не охватывает всей обстановки местности, всеми прогляжен, но ничего не видит, я не смекнул, что для меня обстановка от первого перерыва до второго решительно изменилась. В первом перерыве еще не известен был доклад Ильичева, еще никак ко мне не проявился Хрущев, — и многие думать могли: а вдруг опять поворот? а вдруг Партия уже насчет «Ивана Денисовича» передумала? И потому в первом перерыве к нам с Твардовским мало кто подходил, то еще были отчаянные, а вот когда повалили — в следующем перерыве (теперь-то и Чухрай подошел), когда я был уже заведомо утвержден партией, и можно было ожидать моего дальнейшего взлета. Тут-то — мимо нашего дальнего конца стола оказался крюк самым коротким — с лицом незапоминаемым, никаким, подошел Сатюков. Так он дружески к нам вник, что дальше мы выходили уже втроем, и Сатюков сам спросил нетерпеливо: не предстоит ли моя новая публикация и не дам ли я отрывка в «Правду»? Я не совсем понял: зачем же это, портить новомирский рассказ. Я не сообразил, что значит «Правда» за честь берет — перехватить меня у «Известий» и выколыхать перед Хрущевым. И не сообразил, что для самого рассказа и для «Нового мира» это открывает дорогу без критики. Но Твардовский мгновенно все понимал — и обещал непременно дать.

А еще минут пять спустя к нам подошел какой-то высокий худощавый с весьма неглупым удлинненным лицом и энергично радостно тряс мне руку и говорил что-то о своем крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я: «Простите, с кем же...?» Твардовский укоризненно вполголоса: «Михаил Андре-е-ич!» Я: «Простите, какой Михаил Андреич?» Твардовский сильно забеспокоился: «Да Су-услов!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! — но меня зрительная память частенько подводит, вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал, еще продолжал рукопожатие. Так разворачивалась моя орбита! Те крупные бандиты из Союза писателей тоже, конечно, теперь жалели, что упустили мое соседство в начале банкета, но при Твардовском подойти не могли никак, это был другой лагерь.

Хотя мнение партии было ясно, начался третий сеанс — прения. Чтобы тот же гвоздь теперь подтверждали и забивали сами деятели искусства. И они спешили выговориться, иногда выразительнее самого ЦК. Грозный Грибачев так и лепил: хотят подменить идеологическое общечеловеческим, вообще о добре, в духе христианской морали, — так чем мы тогда будем отличаться от наших

врагов? Призывал, «чтоб молодое поколение не мешало старому поколению мужественно стирать пятна прошлого». И уже знакомая мне Галина Серебрякова: «Я вся молодею при Никите Сергеевиче» (она хотела этим передать политическую весну, но Твардовский очень смеялся), заявляла уверенно и даже властно: «И в Органах и в охране есть честные люди, которые спасали нас (то есть старых большевиков) и верили в нас». Ее и выдвинули против моей опасности, и она поучала теперь: «Лагерная тема может быть столь же полезна, сколь и вредна. Закономерно не то, что *такие вещи* были, но что они миновали, ЦК очистил нас от них». Еще выступал здоровый упитанный художник Серов (иронический однофамилец великого предшественника) и откровенно объявлял, что в искусстве бездарность — не опасность, лишь несчастье, а опасность — абстракционизм. Чистый ленинский путь — это не мармелад, и хороши только те грани жизни, в которых отражается солнце построения коммунизма.

Я пишу эти заметки через 16 лет — и все это так уже ушло в прошлое, измельчилось, овторостепенилось по сравнению с новыми кусающими ударами и болями, которых тогда нельзя было и предвидеть, — что меня самого охватывает скучающее чувство, и останавливается перо. Но и опоминаюсь: да ведь *это* — царствовало полвека и еще сегодня в Союзе забивает мозги, — так свидетельство не может быть лишним.

Собственно, три нити вились в дискуссии этого дня. Первая — абстракционизм в живописи, уже безусловно осужденный, безнадежный и не подлежащий отстаиванию. Но полуниткою оттрепывалось от него — «общечеловеческое», которое тоже осуждала партия и здравые деятели искусств, но которое — на это смелость требовалась! — можно было попытаться и чуть отстаивать. Обще-человеческое как часть абстрактного искусства! — вот была вся наша уродливая щель свободы! Но седой джентльмен с благородным голосом Щипачев (в другие времена — обрядоверный марксист) тут осмелился сказать: «Нам принадлежит будущее — и темы должны быть очень широки. Именно нашей литературе принадлежат общечеловеческие темы, а буржуазная — потеряла на них свои права». С сильной было песочной подмесью, но даже это в тот день в том зале звучало смелостью, — и я поторопился в этом месте первый сдвинуть аплодисменты зала, — и были хорошие.

Вторая нить вилась — лагерная тема. А третья — темнонакаленная — антисемитизм. Московская творческая интеллигенция остро опасалась, чтобы новое гонение не стало противоеврейским, и этот сгущенный страх вошел и в этот зал во многих грудях, и хорошо известен был ЦК. Ильичев, хоть и час говорил, а тему эту об-

минул, но Никита еще в репликах высказал: неправильно «Бабий Яр» написан, будто Гитлер одних евреев истреблял, а славян он истребил еще больше. Есть ли у нас сейчас антисемитизм в стране? Нет! А — был ли? В первые годы советской власти процентный перевес евреев был хотя и очень понятен, но антисемитизм — вызывал. А Шостакович, написав на стихотворение Евтушенко симфонию, совершил работу вредную. (Но — мягко Шостаковичу: «Я вас уважаю. Я думаю, что вы ошибаетесь».) И даже Грибачеву (хотя уж как поддержанному аппаратом) пришлось оправдываться, что он не антисемит. И когда затем выступали Евтушенко и Эренбург, то самым фактом выступления и собою — напоминали, что позиций так не отдадут.

Евтушенко находился (он еще этого не знал) на последнем докате своей гремящей роли и славы, дальше предстоял спад. Если уверенность Грибачева крепла на поддержке власти, то Евтушенко держался именно *самоуверенно*, повышенно значительно, театрально (и Твардовский сказал мне по соседству: «Ведь не ты же выступаешь, а почему-то неловко»). Не обошелся он и без театрализованных басен — как он сейчас разговаривал с таксером, по пути сюда (любимый сюжет городских щелкоперов), или как приходил в их семью освободившийся зэк и рассказывал о преданности ленинизму его деда, умершего в лагере, — и голос Евтушенко содрагивал сочувствием. Осмелился судить о Сталине — что он «может быть даже иногда верил коммунизму» (Хрущев горячо поправил: «Сталин был предан коммунизму всей душой! но вот — как он его строил...»). Осмелился назвать догматизм также формой ревизионизма — и отсюда сделал самый смелый выпад: «А сколько на выставке было бездарно-догматических картин? Никита Сергеич, вот ваш там портрет — плохой!» (Это тогда — очень дерзко звучало, хотя уверен был Евтушенко, что на личное Хрущев не обидится.)

А Эренбург, напротив, вышел — дряхлым губошлепом, уже близким к своему концу. Сколько за свою жизнь он придворничал, лгал, изворачивался, ходил по лезвию. И сейчас, который раз, соображая все новеющую обстановку, он ступал где посмелей, где порабистей. Да, он — боялся Сталина. Сколько раз он немо спрашивал себя: «за что?» тот губит людей. И — неужели никто не скажет Сталину правды? И вот теперь задача (?): объяснить молодым, почему народ (и Эренбург) продолжал работать и при Сталине? Но, но! — Сталин не был антисемитом! (Как урок нынешним, наиболее удобная форма высказать позицию.) Сталин, будто бы, вызывал редакторов и ругал их: что за безобразие — раскрытие еврейских псевдонимов в газетах? (Какие смельчаки редакторы!)

Вобщем, *деды* (ленинские соратники) — были хороши, *отцы* подгуляли. Признался: «*Я сам не понимал, что писал в 20-е годы*». (Но скольких же отравил!) А сейчас если что его беспокоит — то «неполное согласие с Никитой Сергеевичем». — Вот с таким ничтожным итогом кончал этот наш учитель коммунистических десятилетий. Мне противно было его слушать и вспоминать, что в 1941 его статьи меня сильно волновали.

А между тем — за обедом, докладом, променадом и прениями прошло уже более шести часов, за белоснежными занавесами уже стемнело, рабочий день страны перекатился в отдых трудящихся, — а мы все сидели, и в какой-то особо удрученно-ослиной позе, не разделяя этого сборища и не касаясь его, сидел Косыгин. Глава правительства — сам тут был раб безысходный, комический, хотя ждали его дела поважнее. По необъятному размаху задуманного партией — еще было говорить и говорить, записалось 40 человек, а выступило только 8, сегодня — уже явно не уместиться. Перенести? Но на завтра нельзя было перенести: предполагался несколькодневный визит Тито³. Значит — на неопределенное время. А если так — то неизбежно было предварительное заключительное слово Никиты Сергеича. Оно и наступило.

Ну, конечно, о печати как дальнобойном оружии партии. Внутри нашей страны — нет сосуществования систем, здесь — вопрос чистоты или грязи. (Еще раз видно, какой маневр для них — сосуществование.) Борьба не терпит компромиссов. (Оговариваясь: хотя с Кеннеди мы пошли на разумный компромисс. — Ведь Хрущев только-только вынырнул из страшных дней, первый раз проведя мир вплотную к ядерной войне, и вот, из первых его мирных занятий — с нами.) Идет борьба за умы людей. Ваши умы — для нас очень ценны, вы сами — маршалы. То, что мы вас вызвали — уже и доказывает (?), что культа личности нет. Да, партия допускала ошибки. Возможны ошибки и в будущем. (Обрадовал. Но — смело это, обычно так не говорилось.) Я тоже буду в ваших глазах сталинист: я — поддерживал эти устои. Чем меньше ответственности за будущее — тем больше жадности к тюремной теме. (Как раз наоборот!) Считать, что все написанное — Богом данное и тащи в типографию, — так нельзя. Такое общество неуправляемо, оно — не выживет. «Живи и жить давай другим» — я этого не признаю. Мы живем на средства, созданные народом, — и надо народу платить. (И рассердись, тыкая на выставленную скульптуру Неизвестного:) «Шелепин! Проверь, откуда они медь берут? Здесь — 8 килограмм народной меди!» (То потише:) Я призываю и к миру и к борьбе! (То непримиримо:) Я — за войну, не за мир! В войне отстаивать то, что облагораживает

душу человека. Судья — история, но мы — отвечаем за государство и будем отстаивать то, что полезно. Наверно, Ной был неглупый человек, раз не брал с собой нечистого.

А дальше Хрущев все больше терял тон государственного человека и сбивался на выражение личных вкусов, как и считал себя вправе, будучи царем. Весь день обругивался Есенин-Вольпин (в том числе и Евтушенкой), теперь Хрущев обругал и Есенина-старшего: «Кто кончает жизнь самоубийством, тот у меня уважением не пользуется. Видимо и Есенин (как сын его) был заражен сумасшествием. Я спросил у Неизвестного: вы — настоящие мужчины или педерасты? От музыки Шостаковича — колики, живот болит. Не хочу обидеть негров — но весь американский джаз — от негров. А я, когда слушаю Глинку, — у меня текут слезы радости. Я — старорежимен. Мне нравится Ойстрах, коллектив скрипачей. Другой раз и не знаю, что они играют, — а нравится... Я воспитывался в русской деревне, на русской музыке. Постоим за старину!»

Постоим за старину! — так это необычно для большевиков прозвучало: нет, было в Хрущеве помимо коммунизма и исконное.

Но и на этом Хрущев не кончил, уж разнесло его. Стал вспоминать эпизоды из сталинского времени, — «вот, Анастас помнит» (Микоян хорошим истуканом просидел все заседание). Как было написано постановление о «Богдане Хмельницком»⁴, — сидели в ложе, Ворошилов выступил, Сталин продиктовал... Потом уже совсем что-то несурзное: будто Сталин принимал Хрущева за польского шпиона и велел его арестовать...

Все охотно слушали. Часам к 9 вечера это кончилось.

Все отошло — и уже поверить нельзя. А какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил ее. Я жил — у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху. «Новые миры» с «Денисовичем» были давно распроданы — а в редакцию шли паломники, студенты приносили пачки студенческих билетов в залог за экземпляр на сутки. Ворохи писем со всей страны шли на редакцию и в Рязань. Уже набиралась 700-тысячная «Роман-газета», 300-тысячное отдельное издание (вдруг распоряжение: снизить до 100 тысяч! мне сказали, но я не придал значения, не стал оспаривать). Через несколько дней после совещания — «Правда» напечатала отрывок из «Кречетовки». Это уже давало гарантию, что не задержит цензура набираемые в «Новом мире» «Кречетовку» и «Матрену». Я не ощущал своего разлета, но при всей зэчьей предусмотрительности не представлял и как короток он — вот уже к февралю оборвется.

Из двух борющихся сторон я настолько бесповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с ними считал позорным даже повидаться с так называемой «черной сотней» — руководством Союза писателей РСФСР. Под Новый год они приняли меня в Союз без обычной процедуры, без поручительств, даже сперва без заявления (я для издевки не дал его в спешке рязанскому секретарю, не хотел давать им росписи, но потом пришлось дослать), еще и прислали мне коллективную поздравительную телеграмму (Соболев, Софронов, Кожевников и другие), а приехал я 31 декабря в Москву — звали меня к себе на Софийскую набережную, собрались там все (изумляясь моему раскату, они могли предвидеть еще любой вперед, подозревали мои особые тесные связи с Хрущевым), звали меня, чтобы в полчаса выписать мне московскую квартиру (это — в их руках), — я гордо отказался ехать. Чтобы только не повидаться с «черной сотней», чтоб только этого пятна на себя не навлечь, я гордо отказывался от московской квартиры (совсем уже чужь, впрочем отчасти — боялся я и московской сутолоки, расхвата, что здесь работать не дадут, не усвоил, что все работают в Подмоскovie), — обрек себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притесненный там, в капкане, и вечные поездки с тяжелыми продуктами, — о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. (А в дальнейшем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.)

Еще и в январе на перевыборы рязанского секретаря приезжал от них М. Алексеев и очень доброжелательные повторял приглашения, да прежде всего сразу после перевыборов приглашался я на процедуру пьянки, где все речи уже произносятся не формально-собранными, а по существу, в открытую, — я и тут не пошел. Я все делал не так, как все, не так, как ожидается и как разумно.

Тем временем, откладывали-откладывали, наконец состоялось продолжение кремлевских «встреч» — 7 и 8 марта 1963.

Собрали в белом совершенно круглом Екатерининском зале Кремля под куполом, который и с Красной площади виден всем хорошо. Круглый, но колоннами выделялась зрительная часть с голубой мягкостью кресел — и председательское, как бы судейское возвышение из желтого дерева, а сзади в нише, под лепными нимфами — портрет Ленина. Голубой цвет умеренно повторялся в обрамлении зала, там и сям. Дневного света через купол не хватало, был электрический.

Теперь все правительство, или политбюро, как его считать, — сидело не где-то вдали на нашем уровне, а высоко взнесенное

над нами, ясно видимое — и пришедшее нас судить. Теперь среди публики было много незнакомых лиц, не только мне, но и для деятелей искусств: этих поменело, а позвали человек сто-полтораста партийных рож. И Никита был не тот хлебосольный хозяин — сперва покушать из семи блюд и быть добрей, но встал — и свирепо, а у него свирепость тоже получалась выразительно, заявил: — Всем холуям западных хозяев — выйти вон!

Даже охолонули все — кому это? что? не мне ли? Даже покосились — не выходит ли уже кто? (А он имел в виду: кто-то что-то шептал западным корреспондентам о прошлой встрече — так чтоб не шептали об этой. Давно ли, кажется, был 1956-й? А вот уже и шептать нельзя.)

Еще догремливал Никита:

— Применим закон об охране государственных тайн! — (То есть: до 20 лет лагеря.)⁵

Напугал — и сел.

И над судейским помостом, над трибуной, высунулся снова щуплый Ильичев. Змеиноного даже меньше было в нем, чем прошлый раз, потому что повернулись события в его и *их* пользу.

Оказывается, «под влиянием оздоравливающих идей партии исчезло чувство незащищенности» (почему-то верится этому их чувству; вот так: стоят десятилетиями на командных высотах — и от одной повести, от одной выставки уже незащищены), «люди в полный голос заговорили о соцреализме». На Западе уже идут рассказы о бунте детей против отцов, *якобы* запятнавших себя в годы культа. Эрэнбург ввел двусмысленное понятие «оттепель» — а теперь предсказывают заморозки».

Хрущев (грозно): — «А для врагов партии — морозы». (Его, видать, сильно накрутили с декабря, узнать его нельзя. Его руку направили рубить сук, на котором сидит он сам, и он рубит с увлечением.)

Косыгин сидит все также уныло ссунувшись плечью между рук, показывая, что он тут ни при чем, не участвует, такой бы глупостью он не стал заниматься. Брежнев, рядом с Хрущевым, крупный, полноплечий, в цветущем состоянии. И Сулов, недоброжелательно-вобленный (не так сам худ, как все они толсты).

В лад с Хрущевым и у Ильичева появляется угрожающая жестикация: «Выступают, разоблачают, а за душой ни талантишка. Выдают себя за вождей молодежи, а вождем молодежи — один: КПСС». Дальше похвалил Эрнста Неизвестного, Евтушенку, которые за это время успели признать свои ошибки. А такие-то художники (кажется: Андронов, Неведов, Гастев, Вилковир) заняли воинственную и неправильную позицию. И о писателях:

«Можно понять таких, которые долго пишут, но нельзя понять тех, кто вообще молчат». (Я сижу, все записываю и думаю — ну, угодишь с ними! Раньше-то я мог молчать и молчать, а теперь и молчать нельзя!) Затем навалился на Эренбурга (им тогда он казался — вождем оппозиции, грозной фигурой): пока его мемуары повествовали о давних событиях — наша печать молчала. А сейчас — *читатели* протестуют: Эренбург выдвинул «теорию молчания». (То есть: обо всем давно знали — но молчали.)

Как все меняется в проекции времени! А в тот год не было острой вопроса, чем этот: з н а л и или н е з н а л и все вожди, все партийные верхи о том, что творилось при Сталине? Вот в какое идиотское положение поставил их Хрущев. Для спасения лица им оставалось только принять теорию незнания.

Ильичев: «Так что ж получается по Эренбургу: знали и спасали свою шкуру? Но ЦК в постановлении о преодолении культа объяснил, почему н а р о д м о л ч а л». (И тут народом загородились.) «Но вы, Илья Григорьевич, не молчали, а восхваляли. В 1951 вы сказали: «Сталин помог мне написать большинство моих книг». В 1953: «Сталин любил людей, знал слезы матери, знал думы и чувства миллионов».

И что ж Эренбургу ответить, если б и пригласили? Цитаты подобраны неплохо, да наверно десятки их есть, и хуже. Уж он-то вымазан — так вымазан. (И не на том бы уровне ему мемуары писать — а в раскаянии. И, при его европейской известности, не так бы гнуться в них.)

И так поворачивает Ильичев уверенно: «Я выделяю вас, Илья Григорьевич, не для того, чтобы поставить вам в вину восхваление. Мы — все верили и восхваляли. А вы восхваляли — и оказывается не верили». (Наказали его и за то малое, что он осмелился сказать.)

Так разбит главный лидер оппозиции. А еще одно имя нужно у нее отнять — Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не все. Мейерхольд умел возразить на критику: “Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?” — (Хрущев даже подпрыгивает от смеха. И Суслов выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) — Мейерхольд писал: “Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные”. Поэтому мы его и реабилитировали».

И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?

Дальше вышел жердяй и заика Михалков с тремя медалями трех сталинских премий. Удивил он меня, что сослался на письмо Николая Александровича Бенуа: «Абстракционизм — исчадие ада,

а поддерживается и католической церковью. Западное общество не способно сопротивляться эстетическому террору». Записал я, все дивясь. И до сих пор не знаю, так ли Бенуа сказал, где, когда, — а насчет эстетического террора ведь верно! (Впрочем, сам Бенуа в 1917 каких наивностей не нагородил.)

Дальше Михалков читал ядовитое стихотворение против кого-то молодого и прогрессивного, то ли Евтушенко. А затем зацепил вопрос первостепенный: как «под видом борьбы с религией» (не под видом!) уничтожали деревянное народное зодчество, — но Ильичев его оборвал: «Должено, устранено, об этом можно не говорить. Бьете ложную тревогу».

Сразу осадили — это не в цвет. От *своего* они не ожидали такого выпада. (Все-таки время какое — пробивалось и через этого!)

А список ораторов у них был подготовлен тщательно — одна железная когорта и чтобы все били в одно место, нагнетать ужас. Вышел свинокартонка Александр Прокофьев, поэт, просто исходил ядом. Особенно подковыривал Андрея Вознесенского, — стихи формалистичны, кому они служат, назвал «Треугольную грушу» (Никита опять подскакивал, смеясь). Вот, мол, я получил письмо (это распространенный советский ораторский прием: не самому ругать — а получил письмо от Пролетарского Читателя, поди поспорь), пишут: «молодые хотят выйти к славе любой ценой». Стихи Вознесенского крикливы и рассчитаны на моду (хоть и так, да не вам бы критиковать). Маяковский без Вознесенского давно Америку описал — чего Вознесенский суется?

А в общем, Прокофьев «почувствовал великое доверие партии к нам». Мелкий подхалим Андрей Малышко: «Стыдно, что мы так долго боялись бороться с формализмом. Пикассо тоже еще надо от многого очиститься, мы признали у него только ‘Разрушение Герники’ и голубя мира». Пафосный Петрусь Бровка: «Мы благодарны ЦК и лично Никите Сергеевичу. Чего стоят утверждения, будто в годы культа создавались ничтожные произведения, — а на каких же произведениях воспитаны легендарные борцы? Да золотой фонд был создан тогда!»

Так потянули шеренгу одних своих, до самого перерыва. Сидячей еды теперь не полагалось — но пустили к закускам стоя. Лауреаты и деятели очень жадно толкались у столов, захватывая, кто что успеет. Слышал я в кулуарах: Ермилов: «Да мы бы с ума сошли, *если б знали*» (то есть об ужасах культа). И рыжая Шевелева кинулась к какому — то оратору: «Спасибо, что защитили советских людей!»

Встретились мы с Твардовским, и он мне сказал, поблескивая весело, но не без тревоги: «Есть фольклор, что Шолохов на под-

московной даче со 140 помощниками приготовил речь против Солженицына». А я еще так был самоуверен, да и наивен, говорю: «Побойтся быть смешным в исторической перспективе». Твардовский охнул: «Да кто там думает об исторической перспективе! Только о сегодняшнем дне».

Познакомил меня с Солоухиным, — «какое знакомое лицо», сказал я. А знакомое потому, что — общекрестьянское. Он и заговорил — о Матрене, и что можно с Кориным познакомиться (давно я мечтал посмотреть «Русь уходящую»). Правда, была у меня на Солоухина обида: еще из неизвестности посылал я ему письмо в газету против громкого радиовещания, бича сельской тишины (у него во «Владимирских проселках» сходное место), — и просил что-нибудь сделать, напечатать, от себя. А Солоухин мне — вовсе не ответил. Я ему сейчас сказал — он не вспомнил, Твардовский же осадил меня: «А вы теперь — всем отвечаете? А сколько у вас неотвеченных писем?» (И чем более идут годы — тем более вздыхаю я об этом.)

Вернулись в зал — но не только не было просветления в ораторской череде, а снова вышел Ильичев и стал читать бывшие стихи Эренбурга (кто-то, значит, ему в перерыве подсунул). Но Хрущев нетерпеливо перенял речь себе, — к трибуне он не выходил, да не помню, вставал ли и за помостом, да ведь и так высоко сидел — и оттуда метал ничем не ограниченные громы. С интересом он, де, читал мемуары Эренбурга: потому что сам Хрущев, того же возраста, честно воевал в Красной Армии, а Эренбург то на Дону, то в Крыму, и видел лакеев буржуазии. «Эренбург не радуется революции, а страдает с окна на чердаке. Что ж, как вы к нам, так и мы к вам, товарищ Эренбург. Сейчас, когда враг трепещет перед нашей мощью, — нам предлагают идеологическое сосуществование? Свободно продавать у нас западные газеты? Неплохая идея, только не торопитесь. — (Ильичев подкидывал голову с блинной улыбкой.) — Вы — неплохо умеете скрывать свои мысли. Но жизнь заставляет читать между строк». Оказывается, прошлый раз Хрущев просто не дослышал, что говорил Евтушенко, оттого и не отозвался. «Вы говорите — времена *не те*? Но — и не те, которые были временно созданы в Будапеште! Москва — не Будапешт! И клуба Петефи не будет!⁶ И конца такого — не будет! Да, обстоятельства заставляют нас читать между строк. — (Как будто они иначе когда делали.) — В Малом театре поставили "Горе от ума"⁷ с подкашливанием — мол, у отцов учиться не надо. И "Застава Ильича" (фильм Хуциева) — туда же. Товарищ Хуциев, не верю! Сука всегда спасает щенка (то есть как КПСС — молодежь). — Ну хорошо, дайте сатиру. Но и сатира разная бывает. Не так, что: в сельском хозяйстве провал, в промышленности

провал — из-за того, что началась борьба с абстракционизмом. Мне очень нравится прошлое и сегодняшнее наше совещание. Но надо, чтобы не партия, а сами вы боролись за чистоту своих рядов. Как чеховский мужичок говорит: одну гайку закрутить, другую открутить, чтобы крушения не было. Не пора ли и в театрах перестать водить на казнь несчастную шотландскую королеву?»⁸ — (Это — против классики, не могу сейчас воссоздать всю связь речи.) — И кончил решительно: "Извините, партийное руководство мы ни с кем делить не будем". Партия и народ — единое! А вы думаете — при коммунизме будет абсолютная свобода? Это — стройное, организованное общество, автоматика, кибернетика, — но и там будут ходить люди, облеченные доверием, и говорить, что кому делать». (Очень открытая картина. Вряд ли она попала в газеты, как и большая часть той речи. Откровенность — редкая, полезная.)

И, собственно, после такого Никитино разъяснения, после уже двух выступлений Ильичева и нескольких угодливых — совещание могло бы и закончиться, уже все главное было высказано. Еще же надо охватить, сколько было насовано в зал партийных деятелей — по крайней мере 40%, они и сидели сплоченно и сильно, дружно аплодировали всем правильным речам — это тоже внушало, рокот и неотвратимость партийной силы.

Но нет, провороты бюрократической машины требовали теперь всему правительству и всем нам сидеть и прететь еще полтора суток, чтобы партийная воля лучше дошла бы до нашего смятенного сознания.

Тут — объявили Шолохова, я вспомнил слова Твардовского, и сердце мое пригнелось: ну, сейчас высадят из седла и меня, немного же я проехал!

В своих записях я помечал время начала каждого оратора. Ильичев и Хрущев начали в 13.25, Шолохов — в 13.50. А следующего за ним я записал — 13.51. Всего-то одну минуту, без преуменьшений, говорил наш литературный гений, это еще и со сменой. На возвышенной трибуне выглядел он еще ничтожнее, чем вблизи, да и бурчал невнятно. Он вытянул вперед открыто небольшие свои руки и сказал всего лишь: «Смотрите, я безоружный. — (Пауза.) — Вот Эренбург сказал — у него была со Сталиным любовь без взаимности. А как сейчас у вас — с нынешним составом руководства? У нас — любовь со взаимностью».

И — все, и уже сходил, как Хрущев подал ему руку с возвышенности: «Мы — любим вас за ваши хорошие произведения и надеемся, что вы тоже будете нас любить».

И все. Этот жест безоружности и был показ, что заготовленной речи Шолохов говорить не будет. (Потом узналось: его и Кочетова

предупредили против меня речей не произносить, чтобы «пощадить личный художественный вкус Хрущева». А — должны были две речи грянуть, шла банда в наступление!)

Тут вышел первый не из когорты — кинорежиссер Ромм. У московской интеллигенции он был как бы вторым лидером, после Эренбурга, и теперь, когда Эренбурга громили, противостояния ждали от него. Но — он никак не был готов, ему трудно. Вся смелость его (как и большинства) ушла в аналогии («Обыкновенный фашизм»), а — прямо вот так, напрямую? У него были извинчивые обороты, извинительный голос, прикладывание пальцев к груди. «Мне трудно спорить с первым секретарем ЦК». (Но и тем не попал, Хрущев откликнулся сердито: «Тогда вы лишаете меня права подавать реплики. Но я тоже — гражданин своего народа!») С одной стороны кинематограф наш на правильном пути, с другой стороны — тревожно за молодых. (Хрущев: «Острее чтоб направленность была!») Возражал против уже прослышанной ликвидации союза кинематографистов. (И так и было, Хрущев: «Я хочу, чтоб вы помогали не министерству, а партии!») А Ромм все о союзе (поручили ему отстаивать — дома творчества, курсы). И прямо просил: оставьте! (Хрущев: «Положитесь на партийное руководство!» Так и не дал ему говорить.) И вот — все выступление ожидаемого лидера.

Теперь вылезла та рыжая вольная Шевелева и читала стих «Я верю в судьбу твою, Индия», почему-то. Потом вышел, как разжиревший вышибала, председатель композиторского союза Хренников. Он громил «душок либерализма в творческих объединениях», Москву назвал джазоубежищем, за прием джазов. (Хрущев хмуро: «Это министерство культуры так несерьезно приглашает».)

Затем — цыгановатый Чухрай, такой модный среди передовых, надежда либерализма, — и такой осторожный. Во-первых, мол, выступать при членах правительства — высокая честь. Прыгал в тыл противника (вероятно, делать киносъемки партизан), воевал, лежал в госпитале, — но так высоко, как сейчас — не приходилось. Лозунг сосуществования идеологий — бессмыслица. (Очень потрафил.) В Югославии этот опыт произведен. (Хрущев: «Но сейчас-то Тито и-на-че смотрит!») Чухрай сразу и в отступление: «Я может быть отстал, я был там два года назад». Есть западные фильмы — только половые проблемы, и режиссер гордится, если показал половой акт на экране.

Тут захотел Хрущев показать нам картину советского художника. И произошел лучший номер всего совещания: тучного Брежнева, возвышенного рядом, Хрущев потыкал пальцем

в плечо — «а ну-ка, принеси». И Брежнев — а он был тогда Председателем Президиума Верховного Совета, то есть президентом СССР — не просто встал достойно сходить или кого-нибудь послать принести, но *побежал* — в позе и движениях, только по-лагерном у описываемых, — *на цырлах*: не просто побежал, но тряся телесами, но мягкоступными переборами лап показывая свою особую готовность и услужливость, кажется — и руки растопырив. А всего-то надо было вбежать в заднюю дверку и тут вскоре взять. Он тотчас и назад появился, с картиной, и все также на медвежьих цырлах поднес Хрущеву, расплывшись чушкиной ряжкой. Эпизод был такой яркий, что уже саму картину и к чему она — я не запомнил, не записал.

Из той же двери время от времени появлялся один какой-нибудь служка в черном костюме и нес на подносе единственный бокал под салфеточкой с соком или кока-колой кому-нибудь из вождей. И торжественно уносил пустой.

А Чухрай мягко-вкрадчиво продолжал, — и уже не понять: он от оппозиции выступает или от власти? — Конечно, коммунисту надо иметь мужество защищать социалистический реализм. На это нечего жаловаться. Мне доставляет удовольствие, когда на меня свистят враги. Я согласен: опасность формализма велика. Вот, я выслушал речь товарища Ильичева и спрашиваю себя: ну, и что ты психовал? — (Ильичев улыбается.) — А потом думаю: нет, здесь есть основания тревожиться. — (Ильичев нахмурился.) — Во всех моих фильмах искали: а не хочет ли Чухрай подорвать советскую власть?.. Нет! Некоторые бездарные и тупые приняли нынешние мероприятия партии за сигнал пересмотра политики партии. XX съезд провозгласил принцип доверия к художнику. Я — не за либерализм, но я — за доверие. Я — не могу иначе, как с народом. Пускай партия треплет меня, как хочет. — (Хрущев: «От ошибок никто не застрахован. Несчастье Сталина было: сказал — и все. А на ошибку надо только указать. Вот если настаивает на ошибке — тогда... Мы указали Евтушенке на ошибку — а сейчас наши посольства в ФРГ и Франции — хвалят его».) — Чухрай, подбодренный сочувствием Хрущева: Антигероизм — хитрая лошадка капитализма: если нет героев, то кто же выйдет на улицу свергать капитализм? Развелась публика, смотрящая на наши глубокие споры, как на ристалище. Надо бороться за чистоту коммунистической идеологии! (И... и... какой же вывод? вершина речи?) Если вы нам оставите союз кинематографистов — мы своей честью ручаемся!

За эту речь потом все кинематографисты восхваляли Чухрая, и вся интеллигенция, стало быть, довольна была.

Так, всего-то, в ристалище этого зала, чужом для меня ристалище, соревновались вожди власти, когорта приставленных да интеллигенция: чтоб не отняли у них позиций и благ, какие они считали своими. Вот она и есть, центровая образованщина. Ни народной правды, ни голоса о том, что есть еще какая-то низовая страна Россия с ее страдательной историей, без нужды в этих творческих союзах, — тут не раздавалось. Но все клялись непременно именем Народа.

Затем выступил страшный Владимир Ермилов — карлик, а с посадкою головы как у жабы. (Всю его речь ему благожелательно кивал Ильичев.) Наши недостатки стали более заметны оттого, что наша литература выросла. Иметь постоянное чувство идеологии противника. Особо инструктировать выезжающих за границу — и выслушивать их отчеты потом. Особенно бранил Виктора Некрасова: стыдится за свою страну, радуется, что выехал и смотрит. (А кто из них не радовался поездкам?) Нетвердо вел себя с опоздавшими студентами Колумбийского университета. «Может быть, и стукнуть башмаком по столу!» — (Хрущев: «Можно, можно!») «Глубоко недемократически», что Некрасов в Нью — Йорке рассказал вперед о еще не вышедшем фильме «Застава Ильича» (тем самым отрезая возможность запрета). Не создавать ни моду, ни иллюзию гонимости вокруг некоторых имен.

Между тем я стал замечать, что сильно ошибся в выборе места в зале: кроме главных рядов, в середине, еще были стулья и кресла по возвышенному окружному кольцу, между колоннами, как бы логи, там я и сидел. Но при этом я оказывался очень виден всему залу и президиуму: что все время строчу и строчу на коленях в блокнот — именно занятием карандашом и оправдывая, что руки мои не могут хлопать вместе со всеми, — а хлопали в самых обидных и верноподданных местах. И то, что я не хлопаю — слишком видно, и слишком видно, что я, может быть единственный в зале, непрерывно что-то пишу. (Ни стенограммы, ни протокола не велось.)

И после перерыва я пошел и спрятался на одном из задних мест, за спинами всех, близ Олега Ефремова.

Возобновил заседание опять словоохотливый Хрущев, он чувствовал себя вполне как глава дома на семейном сборище. Сказал Чухраю: «Ну, вы своей речью разложили руководство». То есть насчет союза кинематографистов: останется он, так и быть. Но пусть оправдает себя «дальнобойное орудие — кино». И опять — на тему, где единственный он смел трактовать: «Наше понимание: Сталин был деспот, но деспотизм свой понимал в интересах партии. Мы не прощаем деспотизма, конечно (о, еще пока хоть так!), но люди

с душком хотели бы, чтоб мы вместе со Сталиным выбросили коммунизм». (Именно этого хотел от них я.)

Художник Иогансон: «Страдания людей не должны стать модными в нашем искусстве. А появляется мода. Надо, и отрицая, утверждать. Пафос утверждения — лучший памятник тем, кого нет среди нас». (Хорошо вам, в лагере не побывав.)

Хрущев: «Правильно! Правильно! Нечего мусорные ямы описывать, они и при коммунизме будут. Это — только услаждать врагов».

Роберт Рождественский, тогда известный поэт, вид застенчивого мулата, очень волновался, даже заикался. «Наша партия — самая поэтичная в мире. Проблема непонимания отцов и детей — выдуманная. Нельзя о молодежи говорить огульно: "не выйдет, мальчишки!" Наоборот, молодежь учится у отцов принципиальности». (Ильичев хлопал ему. А Хрущев нашел неясности выражений: «С кем бороться собираетесь — непонятно. Становитесь в ряды!»)

Наконец, из главных столпов советской литературы, разъеденный и грозный Леонид Соболев. Взаплевывал он, где же у нас «свобода критики молодых» по Ленину? Нельзя отказываться от ленинских принципов партийности искусства. Нельзя писать сумеречные произведения, и очень опасно обтекаемые. Кто не с нами, тот против нас! Мы теперь стали стыдиться создавать положительный образ, боимся упреков от либералов. «Нужен пафос для того, чтобы восхититься самими собой». (Ему, конечно, густо хлопали, как и всем своим, надежным.)

А тут, по недосмотру ли, выпустили художника Пластова, который клоунничал под простачка — и так высказал единственное свежее за всю эту полосу встреч. В *глубинке* не понимают ни соцреализма, ни абстракционизма. Там спрашивают: а деньги вам платят? А то, вот, мы второй месяц работаем — нам не платят. — (Не второй, а сто второй? — конечно смягчил.) — В деревне нет проблемы отцов и детей: отец — конюхом, сын — скотником. Вы в Москве с жиру беситесь. Меня спрашивают: сколько за эту картину берешь? Пятерку дадут? Я знаю, что — полтысячи, говорю: четвертную. Удивляются: ну, золотые у тебя руки! А старик сидит рядом, кивает: «все — с нас, все — с нас». — (Тут Никита искренне схватился двумя руками за голову. Схватиться б ему покрепче.) — Еще и жалованье получаете? Еще и премию дают?.. Нельзя жить все время в Москве, тут правды не увидишь. Здесь мы услышим, что нам надо говорить, — а там увидим, что нам надо делать. — (Хрущев: «Надо придавать картинам героические черты».)

Вот это, что Пластов, — первое, что и я сказал бы. Это он — от души, за меня сказал.

И заключили Эрнстом Неизвестным, с наружностью французского министра. Где-то он перед тем уже покаялся? Теперь: «Я с верой смотрю в будущее. Может быть, наступит день, когда меня захотят назвать помощником партии».

Нет, *заклЮчить* мог только Хрущев: Рождественский может спать спокойно, я не говорю, что его стихотворение антипартийное. А Грибачев сказал: «не выйдет, мальчишки!», — но он солдат хороший, он имел право сказать.

У-у-уф, уф, кажется бы уж кончить: победили, покорили, раздавили, — кончить, на завтра у всех работа? Нет: перерыв до завтра.

И на завтра опять приходит все главное правительство заседать с нами об искусстве. Но вчерашняя атака — на Эренбурга, Ромма, старших — исчерпалась. Сегодняшний день посвятить напугиванию молодых.

И для этого подстроено первое выступление старой, сухой, чавкающей Ванды Василевской, польской коммунистки, присоединенной вместе с Западной Украиной. Она шамкала, что выступает вынужденно, — из-за интервью, которое дал в Польше Вознесенский⁹. Он всем предыдущим советским литературным поколениям противопоставил — Гроссмана, Эренбурга и Солженицына. Как можно давать такие интервью в Польше, где сильные буржуазные влияния? Ведь это там воспринимается как директива из СССР. За что же бороться, если Советский Союз за 45 лет достиг таких мрачных перспектив? То, что можно печатать в Париже, — нельзя в тех странах, которые еще борются.

И вместе с густыми ей аплодисментами раздались подстроенные дружные голоса: «Пусть Вознесенский скажет!.. Пусть Вознесенский!»

Вот для чего нужно было сегодняшнее заседание — новый шаг от вчерашнего, партийная сплотка приободрилась: возратить атмосферу 30-х годов! Вытаскивать на трибуну тех, кто и слова не просил!

Щуплый узкий Вознесенский поднялся серый. Еще не сразу и гул утих. Сдавленным горлом:

— Как и мой любимый поэт и учитель Маяковский — я не член партии.

Хрущев взорвался (или, пожалуй, велел себе взорваться, но — очень грозно): «Это — не доблесть! Вызов даете??» — И — кулаком по столу. — «Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! Мы бороться — можем, умеем!» (Голоса: «Доло-ой») «Он хочет партию беспартийных создать? Ведется историческая борьба, господин Вознесенский!»

Гремели аплодисменты — как похоронный звон.

Сжатый, совсем без привычки, долго ждал Вознесенский. Договорил наконец:

— И, как и он, я не представляю себя без коммунистической партии.

Слышал Хрущев, не слышал, но продолжал бушевать, да так, наверно, было у них наиграно:

— Для таких будут — самые жестокие меры!.. Мы — те, которые помогали венграм давить восстание!!.. У нас есть более опытные, которые могут сказать, а не вы!.. Мы еще переучим вас! Хотите завтра получить паспорт и езжайте к чертовой бабушке! Не все русские те, кто родились на русской земле!.. Эрenburg сидел со сжатым ртом, а когда Сталин умер, так он разболтался! — И все более подхваченный лихой яростью, показывая как раз на ту ложу, где я вчера сидел, ушел вовремя:

— А вон те молодые люди почему не аплодируют? Вон тот очкарик! — (Голоса — «Поднять его!» Тот поднялся, в красном свитере и с лицом покрасневшим.)

Тем временем Вознесенский нашел паузу (его слова у меня не в конспекте, а — полностью, он ничего больше не успевал):

— Я не представляю своей жизни без Советского Союза.

Но Хрущев добушевывал:

— Вы — с нами или против нас? Никакой оттепели! Или лето или мороз!

— У меня были неверные срывы, как и в этом польском интервью.

Помягчел Хрущев:

— Нет людей безнадежных. Шульгин — лидер монархистов, а патриот. Давайте послушаем его. Меры успеем принять. Во внуки мне годится! Сколько вам лет?

— Двадцать девять.

— Наша молодежь — принадлежит партии. Не трогайте ее, иначе попадете под жернова партии! — (Это предупреждение — уже всем в зал.)

Вознесенский, желая доказать преданность, прочел занудное стихотворение «Секвойя Ленина».

Хрущев слушал стих, опустив брови, надув губы, работа мысли на лбу. Покойнее:

— Вам поможет только скромность. Вам вскружили голову: родился принц. Не протягивайте руку к молодежи! Мы, старики, люди цепкие. Вы берете Ленина, не понимая его. Ладно, чтобы вы были солдатом партии! — И подал ему руку через стол.

— Не буду говорить слов, — обещал Вознесенский. — Работа покажет. — (Уже тогда ли задумал «Лонжюмо»? Или рассчитывал проскользнуть на электронике XXI века и антимирах?)

Тут вытащили того в красном свитере, графика Голицына. Стали его допрашивать, почему не аплодирует, кто он да кто отец, поняли так, что умер в лагере, Хрущев опять подкинулся:

— А вы нам — за отца мстить, что ли?

(А для людей прежнего времени и достойно было бы.)

Затем надо было еще одного молодого причесать — Аксенова. Сам ли он просился на трибуну, его ли вызвали, но говорить не дали. Опять кричал Хрущев:

— Вы что клевете на нашу партию? Мы оплакиваем вашего отца. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Мы не дадим империализму, чтоб здесь росли семена. При оттепели могут расти сорняки. Мы не признаем лозунга «пусть цветут сто цветов»!

И успел Аксенов:

— Думаю только о том, чтобы приносить пользу своей стране.

Хрущев недовольно:

— И Пастернак так говорил. И Шульгин — «за единую неделимую». Пользу родине, — только какой?

Молодых — обуздали без труда. Но по раскатке 30-х годов, всей восстановленной атмосфере «единодушных» собраний, где воспитывались лютые звери, а обреченные доживали только до ближайшей ночи, — уже ревели, требовали дальше: «Давайте спросим московскую организацию!» — то есть, кто направлял. «Щипачева!» Щипачеву надо было еще за «общечеловеческое» врезать. Но оказалось, что он — уже два месяца как переизбран, — вместо него комичный маленький Елизар Мальцев. (Поставлен фракциями как фигура легкоуправляемая.) Вышел, очки потеряв, ничего не видит.

— Два месяца как я секретарь — и все время жду продолжения этого совещания. Не имеем указаний. Иностранной информации тоже не имеем...

Хрущев, осадисто:

— Но вы — коммунист! И контрреволюционеров должны знать!

Контрреволюционеров! — никаких не «ошибающихся»! Звучит-то как страшно! Уже не 30-е, а 20-е годы. Вблизи от меня сбоку сидел пастушок-переросток, большие уши, растрепанные волосы. Я не узнал его, сосед объяснил: Евтушенко. Теперь я покашлялся на него. Он порозовел, живыми губами выражал волнение. В любую минуту удар мог упасть и на него. Счастлив он был, что уже выступил в прошлый раз, в лучшей обстановке.

И — опять покатили *верные*. Истеричный Василий Смирнов: надо договаривать, Соболев только наемкнул, после XXII съезда писательское собрание прорабатывало Кочетова как главную опасность! Мы в московской организации подавлены. Мы вынуждены на съезд РСФСР стараться собрать всех из областей, чтобы нас

выбрали. — (Откровенно.) — Рыба тухнет с головы, Союз писателей — с московской организации. Пусть нас поддержит партия, иначе не будет у нас литературы!

Хрущев:

— Если не справятся сами коммунисты — назначим к вам бюро от ЦК.

(Диктатура пролетариата.)

Худой волковатый Кочетов после Смирнова кажется выдержанным. — Молодые не привыкли к такой встрече, как сегодня. Мы редко выезжаем за границу. А эти молодые поэты уютжат Европу. Там они стыдятся произносить «соцреализм».

Хрущев: — Я знаю вас и Грибачева как хороших бойцов. Бороться надо!

Кочетов: — За рубежом ждут наших книг — именно тех, в которых они увидели бы свой завтрашний день.

А Хрущев что вспомнит, нет на бумажке записать, а сразу перебивает:

— Как мог беспартийный Эренбург увлечь кандидата в члены ЦК подписать этот документ о мирном сосуществовании? С кем, товарищ Сурков, вы хотите сосуществовать?

Сурков (с места): — Я немножко боролся. — (Непонятно: против Эренбурга или против буржуазии в свое время.)

Хрущев: — Эх вы, капитулировали. Не солдат партии, разоружился перед врагами. А по врагам — огонь!

Упомянул Кочетов московскую писательскую организацию — Хрущеву новый повод:

— Ложное неправильное направление — переезжать в Москву. Писатель из Сибири — дайте ему квартиру в Москве. Как алмазы должны пронизывать толщу народа... А может быть московских писателей распределить по одному в заводские парторганизации? Надо подумать. Свежим воздухом будете дышать.

Кочетову нравится: — Конструктивно. Ведь все у нас перестраивается по производственному принципу. Писательские организации — продукты не выпускают. Фантазия: союз тех, кто пишет. Или — тех, кто склочничает? А может быть: создать новый творческий союз всех вообще творческих работников — и объявить новый прием?

Это был — подготовленный план когорты в те дни. Они думали тем оппозицию смешать, а сами утвердиться.

Хрущев: — Не аплодирую, не разобрался. Может быть и нужно.

Так и идет — не докладом, а диалогом с Никитой. Жалуются Кочетов, что ездили в Норвегию — там все о Пастернаке говорят, Никита вслух:

— Если бы «Живаго» была напечатана — никакой бы премии не получил.

Еще прошелся Кочетов по «Вологодской свадьбе» Яшина, противопоставил такой пьянствующей деревне — просвещенную, ждущую журналов (его «Октября»), и закончил неудовлетворенно: — Не выбрасывать же со Сталиным и Советскую власть. Я приготовил другую речь, извините, прочел эту.

Так понять: речь-то была — против «Ивана Денисовича». И самое время им — душисть его всеми катками! самая пора атаковать! Но — нельзя. Вот он, «культ личности»!

Потом через одного выступал известный портретист и украшатель Сталина Налбандян. Тоже вот обстановочка, как ему сейчас выглядеть чистым? «Наш народ негодует против абстракционистов, но негодование не попадает в прессу. До каких пор будет демократия?»

Хрущев, охотно отзываясь:

— Если такие вывихи в союзе художников, то не надо собирать съезда, а собрать *совещание*, — только те силы собрать, которые нам нужны. А для тех, кто оппозицию строит — дадим паспорта на выезд. — (Зрела эта идея у них уже тогда, зрела.) — Демократия это средство, а не цель. Нужно было Учредительное Собрание разогнать за то, что против Октябрьской революции, — разогнали. Надо на трибуну выходить, а у Свердлова расстройство желудка. Так тем более на нашем этапе теперь — неужели подвергнем опасности наши завоевания?

Налбандян: — Но разве виноваты художники, писатели, которые честно воспевали культ личности? Так что теперь, из этого делать ярмо?

Хрущев: — Да 99% непропущенных при Сталине вещей — было верно задержано. Сталин-то — не враг был революции. Теперь рассчитывают: что у меня тогда выпустили — я теперь вставлю и еще посильней напишу. Нет, не протащите! Что ж, писатель в кабинете сидит — он и судья? Судьей будет партия! Никто из нас сам от себя никогда не выступает, советуемся. А почему вы считаете, что это принуждение, когда требуют, чтобы вы что-то опустили? Это у вас мания величия. Это уже будет не демократия, а дом сумасшедших. Теперь будет не жестче, но — *больше внимания* к вам.

В перерывах я стал замечать, что кто в декабре жаждали со мной знакомиться, теперь не только не искали меня, но ускользали. Правда, Симонов в этот раз сам подошел, познакомился.

А еще есть Турсун-Заде, пафосный карлик: — В национальных литературах такая теперь тенденция: Солженицын открыл дорогу — значит, тащи из мусорного ящика. Нет! Критиковать — так

надо одновременно и утверждать. А то для положительных героев не хватает слов. Эрэнбург для Маяковского не нашел красок...

Эрэнбург? Никита не может слышать, не отозвавшись:

— В Париже, мол, я писал, дышал, — а тянет в Россию. Чего его тогда в Россию тянет?

Турсун-Заде: — Наши сердца принадлежат партии.

Хрущев: — Да я вот никогда не имел партийных взысканий, потому что у меня внутренняя дисциплина. Если так и у писателя будет — никакой цензор не нужен тогда. А то думает: как изложить, чтобы проскочило? Это — антипартийность.

Это — все реплики были. А теперь, оказывается, начинается его сплошная речь. Не помню, занял ли он трибуну, или так и говорил со середины президиумного стола (кажется). Начало речи было отмечено тем, что подали ему бумагу, и он стал читать. Длинно читал. Вроде как бы резолюция, но не нами принимаемая, или заключение ЦК, нам лишь к сведению.

Идейно-творческих провалов не произошло, но ряд ошибок. И посейчас мы с удовольствием поем песни Демьяна Бедного. Некоторые представители искусств судят по запахам отхожих мест. (Перечисляются области искусств и в какой что сделано хорошее и в какой что плохое.) В кино — дело далеко не так благополучно. Нам, ЦК, в предварительном порядке показали «Заставу Ильича». Там еще есть неприемлемые места, надо исправлять. Но поскольку Некрасов уже об этом высказался за границей — скажем и мы. При таком символическом названии трое молодых героев не знают, зачем живут. Сомнительные гулянки. Отец не может ответить на вопросы сына, — как это может быть? Внести разлад с отцами?

— Не выйдет! В Советском Союзе не т проблем отцов и детей! В Ленинграде поставили «Горе от ума» (видимо, Товстоногов), а на занавеси: «И черт меня дернул родиться в России с моим умом и талантом». Тут Грибоедов взят как щит. А Грибоедов — прогрессивный писатель. Гнилая идея! Оставьте в покое шотландскую королеву! Велик был Шекспир — но в свое время. А вы дайте нам такое, что вызывает гнев или пафос труда.

Даже Сукарно и тот сторонник *направляемой* демократии. Вот — острые произведения, разоблачающие культ: «За далью даль», «Один день Ивана Денисовича», «Чистое небо» (фильм Чухрая) и несколько стихов Евтушенко. Но ошибочная тенденция: все внимание односторонне сосредотачивать на беззакониях. Те годы — не были сплошным беззаконием.

— Если недостатки так называемой лакировки сравнить с недостатками тех, кто сидит на мусорной яме?.. Эрэнбург был ли другом Сталина — не скажу, но и врагом не был. Враги уже на этом

собрании не присутствуют... А вот Галина Серебрякова выдержала — и сразу взялась за оружие... Почему мы не пресекли культ *тогда*? Мы не знали, что берут невинных. (?) Классовые враги еще не были физически искоренены. Хорошо показано в «Поднятой целине». А Сталин звал на борьбу с врагами.

(Жуть пробирает, сгустился над залом давящий мрак. И — что ж осталось от XX, от XXII съезда, и от недавнего «доброего» Хрущева, распустителя ГУЛага?)

— Но Сталин потерял сдерживающие центры, как Ленин говорил еще в 1923 году¹⁰.

Дальше какой-то бредовый миф: что ЧК вовсе не столько расстреливала, сколько объявлялось. Давала списки расстрелянных — фиктивные фамилии, просто для остратки. (Уж не говоря о методе «остратки», — какая ж остратка, если никто этих лиц не знает? Напуга не будет, все расплывется.) Затем перечислял ценные вклады Сталина, как бы панегирик ему. Сталин особенно возрос в борьбе против враждебных оппозиций. Если бы Бухарин-Рыков-Томский взяли верх — у нас была бы реставрация капитализма. Ленин считал Сталина марксистом. Он только хотел, чтобы генсек был немного вежливей и не капризным. Но мы — отдаем должное Сталину. Он *только* совершал теоретические и практические ошибки.

— У меня были слезы на глазах, когда мы его хоронили.

В руинах дымился весь XX съезд. Сейчас внеси портрет Сталина, объяви Никита: «На колени перед портретом!» — и все партийные повалятся, и вся когорта повалится радостно, — и остальным куда ж деваться? Попробуй, устой!

Но — неисчерпаем Никита, знает сто лазеек. И в радости не даст успокоиться, но — и в горе. Тут же без перерыва начинает историю за историей, одна другой дичей, и даже я, ненавистник Сталина, записываю безо всякой веры.

Глубоко-больной, подозрительный. Если б его не сдерживали работавшие рядом — «дел» было бы еще больше. Например, вызывает Никиту из-под Львова телефонным звонком. Приехал. «Нате письмо! В Москве — центр контрреволюции». Читаю, какой-то сукин сын пишет: создана организация под руководством Попова, и в ней участвуют все секретари райкомов. Я — спрятал в сейф, ему не напоминаю. Но он — не забудет! «Ну, как?» Да, говорю, мерзавец написал. «Да неужели?» — не любил Сталин недоверия к таким материалам. — Или в Сухуме один раз, говорит мне и Микояну: «Я — пропащий человек, я никому не верю и сам себе не верю». Оставляет Микояна на своей даче: «Не уезжай». Потом меня позовет: «Поди спроси у Микояна — что у него, своей

дачи нет, чего сидит?» Я не любил к нему на дачу ездить: напоят, накачают вином. — («Пляши, хохол!» — не добавляет.) — Отговарюсь. Опять Поскребышев звонит: «Вы уже выехали? А товарищ Сталин ждет». Так и представляю — Сталин рядом с ним стоит, приходится ехать. Обычно за руку не здороваемся — так гигиеничнее. Пришел я, сел к столу. Сталин нахмурился: «Вас кто звал?» Я ушел в горы. Через час вызывает меня: «Ну как, Микита? Может, рыбу удить поедем?»

— Да это был сумасшедший на троне. Спрашивают нас: а почему вы его не сняли? На XIX съезде говорит: «Я уже стар, может мне в отставку?» И — смотрит, кто первый скажет «да». А то берет список Политбюро: «Как это Ворошилов пролез?» — «Да вы же сами его вписали». Это, что я сейчас говорю, завтра не будет в газете... Сам созывал съезд партии раз в 13 лет — а пусть бы Украина не созвала! Но — он был предан уставу, следил, чтоб не было партийных нарушений... Тогда, после доноса, мы с Маленковым: давай, этого Попова подальше сунем, спасем его. А объяснить ему самому — не можем. А Попов: «Куда вы меня из Москвы?» Думает, Москва без него пропадет... А Каганович жить не мог без дела об украинских националистах. Но мы не поддались и не дали по губить творческую интеллигенцию Украины.

Весной 1933 Шолохов, мол, поднял голос против насилий на Дону, теперь нашли его письмо в архивах. Что над десятками тысяч колхозников творятся надругательства, как у Короленко над тремя. Пошлите в Вешенский район дополнительных коммунистов! Сталин ответил: ваши письма производят однобокое впечатление. Это — только одна сторона, надо видеть и другую. Хлеборобы вашего района проводили итальянку, тихую войну на измор Советской власти. «Уважаемые хлеборобы» — не такие безобидные люди.

— Берия не скрывал своей радости у гроба Сталина. Берия и Маленков предлагали сдать ГДР. Мы с Молотовым — были заодно, против. Ну, придут они на польские границы. А потом — на наши? Не-е-ет!.. Маленков — он совершенно безвольный. В лето фестиваля сидим, болтаем. А жена приказала ему сделать укол, теперь рука болит.

(Записываю, думаю: да, только при такой последовательности мысли и мог проскочить мой «Иван Денисович».)

Нам чужды пессимизм, уныние. Отображать их могут только те, кто стоит вне творческого труда... Вот хороший был фильм Торндайка «Русское чудо»¹¹.

— А вы, *мальчики*, уважайте умерших и живущих. Позор вам будет, если не сохраните наследства. Надо сохранить! Грибачев —

хороший солдат-дядька, он опытен. Нас сейчас победить силой оружия — невозможно. Значит — вся надежда на «оттепель», взорвать советское общество изнутри... Мне бы сегодня выгодней было не стучать кулаком. Как после XX съезда, когда выступали некоторые ученые, мы их: исключить из партии, установить наблюдение, если не опомнятся — арестовать... Да на кой черт людей в тюрьмах держать, их там кормить надо... Но иногда от этого удержаться нельзя... Вот, у нас много дела — а мы с вами три дня сидим. Потому что нет вопроса более сложного, чем идеология.

Беспартийности в нашем обществе нет и быть не может. Человека определяет не партийный билет, а его душа. Накипь бывает и на вареньи, хозяйка сбрасывает. Также и на социализме, ее надо снимать. «Как закалялась сталь» — всегда будет нашей настольной книгой... Участие в революции на стороне трудящихся — это самое гуманное дело. Кто не идет вместе с ними, тот неизбежно идет против них. Когда во время октябрьских боев обстреливали Кремль, Луначарский пытался «спасать сокровища искусства», — но Ленин над ним посмеялся...¹² Товарищ Шолохов борец за счастье трудящихся. Хорошо видит друзей, хорошо распознает врагов. Кто знает начало — не должен забывать о конце. Москва — не Будапешт!.. «Защитить то далекое время»? Это значит — вернуть его? Не выйдет!.. А Евтушенке не надо подлаживаться ко вкусам обывателей. Выбирайте, чьи похвалы вам нужны... Центральный Театр Советской Армии — глупая идея Кагановича, пятиконечная звезда, самое неразумно построенное здание... А вот, мы под Новый год гуляли в лесу, — какая красота! Вот это — красота!.. А додекафония — это какофония... Эренбург большой специалист навязывать свои вкусы. Конечно, Ленин не мог так говорить о левых художниках, как Эренбург ему приписывает... А Некрасов возмущается, что молодым ставят в пример старого рабочего...

И — до чего же смелы деятели искусств — те, которые окружали Кочетова и Шолохова, впрочем и вперемежку с партийным подсадом, — смело перебивали самого первого секретаря ЦК! Стали дружно кричать:

— Позор!.. Гражданский позор!.. «Новый мир»!..

(«Новый мир»! — это за Некрасова.)

Хрущев одобрительно принял шквал. И дал вывод:

— Абсолютной свободы личности не будет даже при коммунизме!.. Это что, как муж или жена храпит — так почему лишаете меня свободы храпа?.. При коммунизме отклонения от воли коллектива должны быть — лишь как единичные явления.

Партия поддерживает только такие произведения, которые сплавляют народ. «Оттепель» — осуждаем: неустойчивая, непо-

стоянная, незавершенная погода!.. Не пустим на самотек! Бразды правления не ослаблены!.. Во всех издательствах — наплыв рукописей о тюрьмах и лагерях. Опасная тема! Любители жареного накидываются! Но — не каждому дано справиться с такой темой. Тут — нужна мера. Что было бы, если б все стали писать?

— Я помню процесс Бейлиса¹³, я уже тогда носил длинные штаны...Сионисты облепили товарища Евтушенко, использовали его неопытность... Анекдот: великий поэт, как ваше здоровье? Лесть — самое ядовитое оружие... Я — против погромов... Богатые евреи сидели в квартирах околоточного. Товарищ Шостакович, и вы не разобрались! А Израиль предлагает вашу симфонию ставить¹⁴. А там у них — классовое государство. Евреи, уехавшие туда, пишут теперь, что сидят без работы.

(Я покосился — у Евтушенки сильно горят уши. Да всякое грозное обзывание с кафедры при полутысяче человек с грозной трехсотней — и никому не безразлично. Не такой глупый и процесс обработки, может быть и есть смысл им потерять время.)

— Стихотворение «Бабий Яр» — не антисоветское, говорят — музыка хорошая, я послушаю. Запрещать глупо... Да заместитель маршала Малиновского был еврей Крейзер, и сейчас командует на Дальнем Востоке. В числе первых, кто взял в плен Паулюса, был еврей полковник Винокуров, комиссар бригады.

От поездки во Францию Некрасова, Паустовского, Вознесенского — неприятное впечатление. Ошибки и у Катаева в Соединенных Штатах. Евтушенко не удержался от желания понравиться буржуазной публике: мол, «Бабий Яр» критикуют догматики, а народ принимает.

— Я — не за то, чтоб отгораживаться от Запада. Это — Сталин боялся, думал: если начнем разговаривать — нас сразу забьют. А у нас если слов не хватит — можно выругаться. Общаться — можно, но надо высоко держать достоинство советского человека. Чтоб общение было — на пользу нам.

(И эта программа — великолепно выполнена в последующие годы. Я начал восстанавливать эти записи с улыбкой, как курьез и анекдот. А по ходу страниц смотрю, — и совещания те имели смысл и, что называется, победила партия. Биться против партии — там было некому, смелыми становились наши деятели лишь когда утекали на Запад.)

